

84(2Рос-ЕВР)6-4
Д. БЕРГЕЛЬСОН

Б48

РАССКАЗЫ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

№ 42 (957)

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

МОСКВА—1936

84(2Рос-ЕВР)6-4

Д. БЕРГЕЛЬСОН

Б48

Р А С С К А З Ы

РЕДКИЙ ФОНД

Библиотечная областная
научная библиотека
им. Шолохова
СЕКТОР НАЦИОНАЛЬНО-
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Журнально-газетное объединение
Москва — 1936 г.

13166-1418

Отвст. редактор Еф. ЗОЗУЛЯ

Техред З. Матисен

Издатель Журнально-газетное объединение

Изд. № 209

Уполномочен. Главлита Б—25098

Зак. тип. № 459

Тираж 40 000

Статфор. А, 105×148 мм. 1 1/2 печ. лист. Число зн. в 1 печ. л. 47.500

Сдано в набор 3/VII—36 г.

Подп. к печ. 7/VIII—36 г.

Типогр. в цинкогр. Жургазоб'единения, Москва, 1-й Самотечный, 17

ДЖИРО - ДЖИРО

Богатства Нью-Йорка окружают Терезу.
Пятое Авеню со многими истами и вестами.
Грэнд Сентрал
Уолл Стрит
Сентрал Парк
Оба Бродвея
Океан в одном конце
Река Одн в другом.

В самом центре Нью-Йорка живет Тереза — бело-
курая итальянская одиннадцатилетняя девочка.

Вот ее богатства:

платьице с высокой талией, как у детей, которых
рисуют с мадоннами,
восковое личико мадонны,
простуженный божественный носик

и широко расставленные, голубые, водянистые глаза.

У Терезы нет бровей и нет косичек — отец остриг ее, как мальчишку.

Все несчастье от ее голоса, горного, высокого голоса, созданного для того, чтобы забираться высоко, чтобы петь по-итальянски и приводить в отчаяние Нью-Йорк.

В сумерки Тереза спускается во двор, усаживается там на брошенных досках и поет в грохочущем сердце Нью-Йорка.

Жильцы в эти минуты не пожалели бы любой монеты, только бы девочка перестала петь.

Прилетает ласточка
Из-за морей весной.
Крылышки устали —
Они трепетали
Над бездной голубой.

Распахиваются окна: жильцы требуют, чтобы Тереза замолчала. Наступает тишина: «некрасивая песня» — решает про себя Тереза и запекает другую.

Снова раскрываются окна, взбешенные лица показываются в них, Терезу бомбардируют шелухой от бананов, и она должна подвинуться на своих досках, для того чтобы шелуха пролетела мимо.

— Видели ли вы что-нибудь подобное? — несутся крики из окон. — Вот так напасть...

Тогда Тереза отворачивается, еще выше подламывается ее голосок:

Джиро джиро тондо,
Джиро туто иль мондо...

На старую гористую родину, в дважды солнечную итальянскую Швейцарию, приехал отец из Нью-Йорка, приехал за тем, чтобы позаботиться о судьбе дочери и о своей собственной—вот уже несколько лет он жил вдовцом. Терезе никогда не забыть, как все это было: в первые дни отец вставал поздно, чистил себе сапоги, мыл голову и молча опохмелялся неисчислимым количеством бутылок пеннистого Асти. Лицо у него было как лицо человека, умершего однажды и затем вернувшегося с того света. Нисколько оно не было похоже на висевшую у тетки Феодоры фотографию, где он был снят в день венчания с покойной матерью Терезы. После того как он сбрил усы, нос его стал короче, рот шире; мускулы лба и щек были мертвенно неподвижны, правый глаз непрестанно подмигивал и казался меньше левого.

И тут оказалось:

Он — официант в нью-йорском ресторане, где ночи напролет грешат против сухого закона; от ночных таинственных переговоров с клиентами о выпивке осталась у него эта привычка — подмигивать: через меня, мол, можно достать бутылочку...

Теперь глаз привык и подмигивает, не разбирая, — по делу и без дела:

Одиннадцатилетней Терезе отец привез желтые башмаки, тетке Феодоре — две пары шелковых чулок.

— Особенные чулки!

— Таких здесь и не увидишь.

Так утверждали все, кто просовывал в чулок руку и растягивал его на растопыренных пальцах.

Одна беда: никаким способом не хотели чулки лезть на простые крестьянские ноги и чуть не лопнули, когда тучная тетка Феодора — заплаканная, вспотевшая, багровая — попыталась их натянуть на себя.

— Надо дать ноге просохнуть...

— Всыпать тальку...

— Вывернуть чулок наизнанку и попробовать надеть с пятки...

— Шелковый чулок требует терпения...

Но советы не помогли. Чулки лежали на высокой застеленной кровати, как два живых американских упрянца, и Терезе казалось — они подмигивают друг другу: давай, мол, поедem домой...

После долгих терзаний тетка Феодора спустилась со своими чулками с гор в курорт, окружавший пестрой каймой зеленое бархатное озеро, и выменяла их там на шейный платок, такой, что когда надеваешь его узлом на спину, а концы продеваешь

спереди в спичечную коробку, то сразу чувствуешь, что наступил праздник. С желтыми башмаками в руках Тереза пасла козу тетки Феодоры и осла дяди Титоса. Она несла их в руках и, уголком глаза следя за козой и ослом, пела:

Джиро джиро тондо,
Джиро туто иль мондо...

Однажды, прижимая башмаки к груди, Тереза бежала под гору по белой от пыли дороге. Четыре солнца или, может быть, пять солнц светили посредине неба; в раскаленный полдненный этот час тетка Феодора послала девочку в лавку. Горячая пыль обжигала ее босые ноги. Но она не испытывала боли, потому что не спускала глаз с новых башмаков.

Вдруг она почувствовала, как тяжелая рука легла на ее голову, остановилась и увидела рядом с собой толстый отеческий нос патера Антония и лукавые, смеющиеся его глазки.

— Господа богадохлый котенок, — закричал он, — уж если ты едешь в Америку, так с патером Антонио и здороваться не надо? Посмотри-ка мне в глаза, господа бога протухший цыпленок.

И, расхохотавшись, он позвал ее бабьим голосом: — Цип, цип, цип!..

Он любил валить в одну кучу, вместе со словом «бог», такие неблагозвучные слова, как «дохлый» и «протухший». При этом у него была привычка щеко-

тать своего слушателя подмышками или посредине живота, у самого пупка. Этим он просто хотел сказать, что с ним, с патером Антонием, бог ведет себя запросто, не так, как с другими патерами.

— Слушай, Тереза...

И он сразу сделался серьезным; по вечерам, когда первый удар колокола, звавший людей на молитву, прерывал его болтовню с прихожанами, у него становилось такое же лицо.

— Я говорил с твоим отцом, Тереза... — Он шмыгнул носом. — В Америке ты будешь петь в церкви, как пела у меня.

Он выхватил из ее рук башмаки, повел ими перед самыми глазами, точно подозревая, что одна подошва у них больше другой, и, перекрестив их, отдал Терезе с таким видом, как будто это он, патер Антонио, делает ей подарок.

— Я дал отцу письмо к моему брату, — сказал он. — У моего брата собственная церковь в Нью-Йорке, ты будешь у него певчей.

Так это все и обнаружилось: то, что Тереза едет со своим отцом в Нью-Йорк, то, что она будет служить в хоре у брата патера Антония, в собственной его церкви.

И от радости она запела, сбегая по выжженной дороге:

Джиро джиро тондо,
Джиро туто иль мондо...

На пароходе.

Пассажиры спрашивают у Терезы:

— Что ты будешь делать в Нью-Йорке?

— Я буду петь в церкви у брата патера Антония.

Чужие люди окружили ее на палубе; нет, она должна спеть тут же, не дожидаясь.

Тереза простудилась на пароходе. Она кашляла. Щеки ее пылали под восковой кожей.

Не трепещи, челнок,
Маленький челнок!
Волны, что во след бегут,
Тебя в простор влекут, —
Сверкая и дробясь,
Несут в простор тебя.

В стороне два американца играли в покер; оба были недовольны тем, что им мешают. Они сказали Терезе:

— Не можешь ли ты выбрать местечко подальше?..

Не горюй челнок,
Что ты — с ноготок,
Что от века морю
Края не бывало.
Я тоже в мире капля малая. —
Мой мир
Огромен и широк,
Но в нем
Я далеко не сир.

Один из игроков сказал:

— У меня такое чувство, как будто клопы ползают у меня под рубахой...

Другой, заглядывая в карты, все напевал — пики-kozyри, пики-kozyри.

Потом он швырнул последнюю свою пику на стол, пронзительно посмотрел на партнера и сказал с такой злобой, как будто партнером его была Тереза:

— Погоди, погоди!.. Еще тебе немало придется выть в твоей церкви в Нью-Йорке...

Так это и началось.

В Нью-Йорке обнаружилось:

Брат патера Антония продал свою церковь на слом. На ее месте выстроил дом с многими этажами. Нью-Йорк взглянул на Терезу красными и зелеными глазами. Холодные, мертвые глаза светофоров — они оправдывают того, кто сказал:

— У меня такое чувство, как будто клопы ползают под рубахой...

С тех пор прошло несколько месяцев. В боях с жильцами шелуха бананов дождем летела на голову девочки.

Тереза живет в Нью-Йорке.

Тереза не нужна Нью-Йорку.

Нью-Йорк не нужен Терезе.

Они живут в ненужном соседстве.

Тереза поет.

Нью-Йорк не хочет, чтобы она пела.

Во двор, где живет Тереза, во двор небольшого дома, сдавленного небоскребами, заглядывают их золотые купола.

«Они украдены у бога», думает Тереза. Она знает, что бог любит жить под золотыми куполами.

Кто же теперь живет под ними?

Тереза задирает кверху маленькую свою голову — не те ли, кто украл купола? «Воры, — думает о них Тереза, — бездельники, проклятые американцы, которые ничего не боятся — ни бога, ни тюрьмы!».

С высоты смотрят на Терезу купола, смотрят блестящими окнами, из которых никто никогда ее не увидит.

Во дворе, в бывшем гараже, на цементном полу стоит незастланная кровать. Блохи прыгают с грязной подушки на простыню в заплатах; ржавая газовая плита чернеет в углу. Здесь живет Тереза.

Нью-Йорк велик.

Тереза мала.

Однажды отец взял ее за руку и повел в школу. Они долго томились в приемной, вместе с другими детьми и родителями. Отец был в тревоге — он опаздывал на работу. Правый, уменьшившийся его глаз беспрестанно подмигивал, и казалось, он весь залит слепым, мертвенным бельмом. Наконец, их впустили в боковую комнату; крахмальный халат доктора осмотрел Терезу.

В это же мгновение доктор исполнил три дела:

он прочистил заложенный нос,
приказал, чтобы в комнату впустили следующего
ребенка,

и сказал отцу Терезы:

— У ребенка туберкулез. Она была больна, вы
говорите? Простудилась на пароходе? Отчего умер-
ла мать? От чахотки? Значит наследственное.

Правый глаз отца перестал подмигивать.

Что же будет теперь?

Доктор чихнул и сделал рукой такое движение,
как будто он с утра все собирается чихнуть, может
быть, всю жизнь собирается и вот, наконец, добился
своего.

— Она заразит других детей... Мы не можем ее
принять в школу.

Отец не уходил.

— С меня будут требовать штраф — штраф за то,
что она не ходит в школу. Дайте мне свидетельство.

Доктор выслушивал следующего ребенка и отве-
тил из-за его спины:

— Не имею права. Обратитесь к другому доктору.

Отец взял Терезу за руку и ушел.

На улице лил обильный нью-йоркский дождь.

Тереза остановилась:

— Я забыла в школе свое пальто.

Отец, согнув голову, тащил за собой Терезу, как
ташат пустую тележку, и ругал патера Антония:

— Бестия! Грязная собака! Он-то хорошо знал,

что брат продал церковь на слом. Ему бы похвастать только...

Дома, оставшись одна, Тереза вспомнила об оставленном в школе пальто и заплакала. Она плакала долго. Потом что-то задумалось в ней, задумалось глубоко внутри и неожиданно запело:

Джиро джиро тондо,
Джиро туто иль мондо...

Каждое утро, чуть светает, Тереза просыпается на низкой широкой лежанке в бывшем гараже.

Она видит:

отца уже нет.

Она слышит:

на дремлющих улицах просыпаются и шелкают бичи. Они гонят кого-то, как гонят животных на арене цирка. Все злее и лихорадочнее их свист. Множество людей, мириады сыплются из-под земли, стекаются со всех концов.

Холод пробегает по спине Терезы. Наверное, есть один среди них такой, что не добежит. Есть другой — он опоздает.

Есть множество людей — они упадут, не добежав.

Чаще, суше хлопают бичи. Выстреленные неведомой рукой автомобили тремя-четырьмя рядами замирают перед заграждением. Впереди них на улице, готовая удрать, лежит пустота, накатанная, призрачная, и светофор мертво глядит на остановившихся. «Поздно», говорит красный его глаз.

Мертвый, он закатывается и смотрит другим — зеленым. Пустота срывается с места и бежит вдоль улицы. Автомобили на мосту, пешеходы на тротуарах кидаются вслед за ней, догоняют ее, их пригваживает к земле новый, красный налитый глаз:

— Поздно!

Многоголовый страх окутывает город, туман смотрит из мимо мелькнувших глаз. Люди сыплются изпод земли, из туннелей и поездов. В тумане кривляются световые рекламы, мигают пестрыми холодными огнями — все о том же, о чем воют на улицах громкоговорители. Глухой рев и поющая электрола — вот голос Нью-Йорка. В нем сплелись серенады и грубая отрывка мира. В один голос — без неба, без языка, без голоса — они вопят о долларе.

В бывшем гараже, где живет Тереза, отзвуком бегущих под землей поездов гудит цементный пол. Из соседнего подвала, глубокого, как колодец, доносится грохот ротационных машин, неудержимая дрожь типографских чудовищ. Они довели Терезу до нервного тика, до конвульсии, которую нельзя унять. Ей кажется, она все еще плывет на пароходе по океану; к ней подступают тошнота, кашель.

А уж если кашлять, так с долгим, протяжным стоном; от него перестает колоть в груди и начинает колоть в ушах и болит голова. От рвоты у Терезы одно средство — лежать, не двигаться с места.

Отец не раз говорил ей:

— Прогонят нас с тобой со двора из-за твоего кашля...

Поэтому Тереза лежит на низкой грязной кровати, плотно сжав губы, с прикрытыми глазами. Чтобы не думать о судороге, сжимающей горло, она считает, сколько раз на дню проехала по Лексингтон-стриту пожарная команда. Как только раздается патентованный вой сирены, она вытаскивает из слежавшегося матраца соломинку и откладывает ее в сторону. К концу дня счет сходится.

Так же, как и вчера, — тридцать соломинок.

Кашель прошел. На ржавой газовой плитке стоит приготовленная отцом еда, пахнущая вареными прокисшими помидорами. Тереза пробует есть, к горлу подступает тошнота. Тогда она берет свой старый платок — подарок тетки Феодоры, привязывает его крестом на груди и идет во двор. Там она выполняет наказ отца:

каждый вечер сидеть два часа на свежем воздухе...

Рядом с небольшим двором строят небоскребы.

В высоте раскачивают хоботы экскаваторы, вгрызаются ими в землю, перетаскивают камни. С разноголосым визгом мчатся треугольные вагонетки. Динамит вырывается из минированных недр. Пневматические молоты сверлят железный остов, входят в стальные балки, захлебываются на высоте тридца-

тых, сороковых этажей, захлебываются как дети при коклюше.

И в середине урагана — Тереза. Она сидит в небольшом дворе, в углу, на гряде щепок. Она вспоминает о пальтишке, оставленном в народной школе. Сердце ее тоскует о нем, и не столько о пальто, сколько о том, что там была прореха под левым рукавом.

На память ей приходят коза тетки Феодоры, ослик дяди Титоса, белый зной, сияние солнц, трех или четырех солнц в одном небе. Перед ней — извилистая тропинка, обжигающая ступни, и вдруг тонкий ее голос входит в лязганье и скрежет поднимающихся небоскребов: итальянскими словами, высоко-высоко, она заливается, как у себя на родине:

Джиро джиро тондо...

Она не видит, как раскрываются в доме окна, как грозят ей оттуда пальцами:

— Перестань!..

— Сейчас же перестань!..

— Сию минуту!..

Тереза поворачивается к ним спиной. Она поет.

За окнами в четырех узких этажах живут не совсем обыкновенные нью-йоркские люди. Каждый из них наказан какой-нибудь странностью. Если бы не это, у всех у них были бы, конечно, семьи и они не жили б в меблированных комнатах.

Начнем с самой молодой — с арендаторши мебелированных комнат, миссис Робенс. Это несколько слишком рослая женщина, слишком пылкая, слишком накрашенная и напудренная, с возбужденным худощавым лицом, продолговатым носом и гневно заплаканными глазами. Стоит незнакомому человеку заговорить с ней, как ему сейчас же покажется, что она хочет с ним поссориться. С недавнего времени она не живет с мужем. Муж изменил ей, потом раскаялся, раскаялся искренне, от чистого сердца. Она же сначала оповестила об его измене всех знакомых, опозорила его и потом раскаялась, тоже искренне раскаялась, от всего сердца. Знакомые вмешались в это дело, знакомые пытались их примирить, сводили в условленных местах. И вот тут оказалось: что касается мужа — он согласен мириться, но в то же время и не согласен. Что касается миссис Робенс — она тоже соглашается и вместе с тем она отказывается. Оба сожалеют о том, что произошло, но, с другой стороны, никогда они друг другу этого не простят. Они без ума любят один другого, но и ненавидят друг друга безгранично. Миссис Робенс — с длинным своим носом, заплаканными глазами и возбужденным лицом — прежде всего ей надо его проучить. Он же хочет одного только, хочет сделать так, чтобы она всю жизнь его помнила. Она сняла и обставила этот дом и сдает комнаты, сдает их со злобой, с отчаянием, с перепудренным и накрашен-

ным лицом и вносит в незатейливое это дело столько яда и страсти, словно с каждой сдаваемой комнатой она говорит мужу сквозь стиснутые зубы:

— Вот полюбуйся: без тебя можно прожить...

Живут у нее (начиная с самой большой комнаты): Братья Джекобсон, два веселых, здоровенных парня, поссорившиеся с родителями, с братьями и сестрами. Друг за друга они готовы в огонь и в воду. В комнате у них радиоаппарат. Возвращаясь после работы, они включают радио, отыскивают станции, где играют «шимми» и танцуют друг с другом, как кавалер с барышней.

Следующий жилец миссис Робенс.

Мистер Мэкой — человек с плешью во всю голову, с приплюснутым носом, с негритянски выпяченной нижней челюстью и темными сверкающими глазами. Он — «коунт», специалист по проверке самых запутанных бухгалтерских книг. В специальном журнале им когда-то была напечатана статья. В ней говорилось: «Единственный счастливый момент в жизни человека — это когда имеешь дело с цифрами». Еще там говорилось: «Жизнь скучна и однообразна. Если бы не работа с цифрами, человеку с головой на плечах оставалось бы только веревку и повеситься...» Критика отметила эти места и похвалила автора. Тогда мистер Мэкой поверил в то, что жизнь в самом деле скучна и однообразна.

От страха перед смертью, из боязни того, что он

схватит веревку и повесится, как только перестанет заниматься, мистер Мэкой сидит над цифрами непрестанно.

Мистер Дэвис — помощник режиссера на кинофабрике, мужчина шести футов ростом, застывший на 43—44 годах и больше не старящийся. После работы он каждый вечер по нескольку часов простаивает у телефона, разговаривая с девушкой, которую он любит. Девушка требует, чтобы прежде всего Дэвис дал ей по телефону слово, что он не будет пьянствовать ночью. Она просит его об этом долго, преданно, многословно. Она хочет, чтобы он дал ей честное слово. Мистер Дэвис отвечает, что он готов дать честное слово, что он и сам хотел бы. Впрочем, нет, не это он хочет сказать. Дело в том, что он должен сделать над собой громадное усилие для того, чтобы узнать, хочет он этого или нет. Впрочем, и это не то. Прежде всего он должен выяснить для себя самого, хватит ли у него силы сдержать честное слово, если он его даст. Нет, опять он не то сказал. Сил, он чувствует, у него хватит: он их черпает в трогательном ее к нему отношении, в том, что она согласна увидеться с ним завтра вечером, если он не будет пить сегодня ночью. С другой стороны, он так жаждет увидеть ее, что не знает, что боится, что он не сможет убить время до завтрашнего вечера, боится, что он будет вынужден нарушить свое слово и сократить томительные часы ожи-

дания тем, что всю ночь пропьанствует и пропьет свое честное слово, пропьет из-за нее, из-за того, что страстно хочет видеть ее.

После столь содержательного разговора по телефону мистер Дэвис, бледный, лежит у себя в комнате на диване и, действительно, начинает пить — методически и не торопясь. Пьет много и не пьянеет, заводит граммофон, потом вспоминает о табличке на дверях — «меня нет дома» — и останавливает граммофон. Около часу ночи он звонит по телефону миссис Робенс и просит ее зайти к нему. Даже, если она легла, он просит ее наскоро одеться и зайти к нему, потому что из-за этой истории с любимой женщиной... Одним словом, ему приходят в голову ужасные мысли, он не ручается ни за что, если останется в этот час наедине с собой. Миссис Робенс, наспех одевшись, приходит к нему; дверь она оставляет полуоткрытой... Делает это она для того, чтобы квартиранты чего-нибудь не подумали, и еще для того, чтобы квартиранты рассказали обо всем мужу.

— Он-то пусть подумает. И действительно: какой-нибудь из запоздавших долго стоит в темном коридоре и, затаив дыхание, подслушивает.

Миссис Робенс упрашивает мистера Дэвиса:

— Перестаньте пить, проявите силу воли... Она так любит вас... Как вам не стыдно!.. Она просит об одном — не пить... О, мужчины!..

На это мистер Дэвис отвечает, что прежде всего, для того чтобы миссис Робенс могла хоть сколько-нибудь его понять, она должна с ним выпить хотя бы полрюмки, хотя бы капельку:

— Потому что, — говорит он, — здесь дело запутано и очень интересно запутано. Здесь фильм, миссис Робенс, из ряду вон выходящий фильм. Меня не обманешь, я знаю толк в фильмах. Совсем напротив, дорогая, я бы сам хотел обмануться. Вот уж сколько времени я живу у вас. Я чувствую себя здесь как у сестры. Помогите мне обмануться, прошу вас. Люблю ли я ее?.. Разве это не видно, — ребенок вы, что ли? Я часу без нее не могу прожить. Вы думаете, я не мог бы ради нее бросить пить? Вздор! В любую минуту могу бросить. Но я не делаю этого — и не сделаю. Почему? Потому что она меня не любит. Она вбила себе в голову, что вот она, с ее красотой, ее прелестью, может взять мистера Дэвиса в руки, сделать так, чтобы он не пил. Ошибиться в этом — значит для нее ошибиться в себе самой, в силе своей красоты. Стоит мне перестать пить, как все кончено, она своего добилась, конец нашему роману.

Лучшие часы мистера Дэвиса — это сумерки, когда он, придя с работы, говорит по телефону со своей возлюбленной. Тогда он творит, наслаждается тем, что не дает ей ускользнуть, не выпускает ее из рук. Но как раз в эти часы начинает петь Тере-

за. Она врывается в разговор высоким своим голосом, разбивает вдохновение мистера Дэвиса, доводит его до того, что, разговаривая с девушкой, он топает ногами, стучит кулаком по столу, скрежещет зубами.

...и вот, касатка серая,
Нет гнездышка у тебя.
Его снегами занесло,
Его ветрами разнесло.
Птенчиков своих
Куда теперь схоронишь?
Крылышки свои
Куда теперь преклонишь?

Оба парня вынуждены тогда выключить радио и прервать свой танец кавалера с барышней, танец разрыва с отцом и матерью, с братьями и сестрами, танец вызова всеми свету. Пение Терезы нарушает ритм «шимми». Они заворачивают в бумагу остатки пищи, сматывают шарики разной величины и дружно швыряют их в Терезу. При этом они помирают со смеху, очень довольные тем, что так ловко попадают в цель, и сознанием, что они озорники.

Терезу душит кашель. Он стал суше и резче в последнее время. Лоб у нее пожелтел и вырос. Она откашливается, отодвигается:

Не горюй челнок,
Что ты — с ноготок,
Что от века морю
Края не бывало...

Тогда вскипает мистер Мэкой-коунт. Он бросается к окну и чуть не ломает при этом «вечное» свое перо, занятое всегда одним и тем же — подсчитыванием цифр. Плешистая голова, приплюснутый нос, негритянская челюсть, темные сверкающие глазки — все налилось бешенством. Голос его покрывает гром и скрежет строящихся небоскребов:

— погоди! — кричит он. — Поймаю я тебя...

Мистер Дэвис, помощник режиссера, в этих случаях, ведет себя по другому. Он только что вернулся с работы, лицо у него бледно, волосы только что вымыты, лоб обмотан полотенцем от головной боли, халат расстегнут. Мистер Дэвис подходит к окну, если только он не занят телефонным разговором со своей девушкой, простирает к Терезе обе руки, склоняет набок голову, делает умильное лицо и просит о милосердии. Слов его из-за шума не слышно. Тогда он хватает граммофонный рупор, прикладывает его ко рту и кричит во двор Терезе:

— Золотая, дорогая, прошу тебя, умоляю тебя, предупреждай меня, когда ты собираешься петь. Я буду уходить из дому на это время.

Это он прозвал Терезу «Джиро-Джиро» — первыми словами любимой ее посенки — «Джиро джиро тондо, джиро туту иль мондо...»

Теперь весь двор ее так называет. Услышав ее голос, все бросаются к окнам.

Она уже здесь — «Джиро-Джиро»...

Несколько дней Тереза не показывается во дворе, несколько дней не слышно ее песен. Вместо нее на досках сидит отец. Выглядит он, как после дурного сна, сплевывает время от времени в сторону, за плевок следует проклятие. На сердце у него тяжело. Ребенок болен, ухаживать за ним некому, увезти некуда, и потом... в нескольких ресторанах забастовали. У них этого еще нет, но официанты о чем-то шепчутся... к нему подходят во время работы, незаметно делают знаки:

Идем... в пикет...

А пикет — это такая штука... Очень хорошо, что она существует, но... он боится ее и стыдится своего страха. Вот и сиди на досках и отплевайся, потому что она радует тебя, эта штука, и пугает. Обманывай сам себя:

— Как я пойду? У меня ребенок болен.

В один из таких вечеров его увидел из окна мистер Дэвис. В этот вечер он не говорил по телефону, но ему нужно было обеспечить себя на завтра, на послезавтра... Поэтому он вышел во двор к терезиному отцу:

— Это твоя девчонка? — кивая в сторону раскрытого гаража, спросил мистер Дэвис.

Отец не торопился с ответом. Он сплюнул сначала. Казалось, он не решил, стоит отвечать или нет.

— Хотя бы и моя... Дальше что?

С минуту они постояли, разглядывая друг друга.

— Дорогой мой, — наставительно произнес тогда мистер Дэвис, — нельзя ли так устроить, чтобы девочка не скулила по вечерам?

В это мгновение он что-то подметил в лице терезиноного отца, в его глазу, непрестанно подмигивающем правому глазу, и добавил мягче:

— Я, понимаешь, как раз в это время прихожу домой, хочется, понимаешь, отдохнуть. Я работаю на кинофабрике, знаешь — звуковое кино... Весь день мелькают в глазах прожекторы, гудит музыка. Тысячу раз одно и то же. Некоторые и месяца не выдерживают: начинают плечами дергать, скулами, если хочешь, становятся эпилептиками. А тут у меня, понимаешь, личные дела, неприятности... Одним словом, хотелось бы, чтобы ты меня понял.

Отец Терезы слушал, понутив голову. Он сделал движение руками, висевшими вдоль тела.

— Ребенок — сказал он, — ребенок... Она больна... Она больна... Она оттуда — из Итальянской Швейцарии. Там ребенка хлебом не корми, в Итальянской Швейцарии... Они поют там...

Он поднял голову, огляделся, вздохнул:

— И потом — в этом аду... С одной стороны строят, с другой стороны строят. Ни минуты покоя. Вот послушай... И это вам не мешает?.. Уж я не знаю: если это вам не мешает... Ну, запоеет ребенок...

Тут мистер Дэвис забыл всю свою сдержанность.

— Скажи мне, пожалуйста, голова у тебя на плечах или кочан капусты?

И он стал трясти сжатыми кулаками:

— Ведь это же строят... дома... дела... небоскребы...

Тереза лежала в бывшем гараже с пылающим восковым личиком. Водянистые голубые ее глаза расширились, руки стали сухи и горячи. Ей казалось — тяжелая большая муха ползет по ее нижней губе, прогнать ее не было ни сил, ни желания. В ушах ее засело неясное, непрерывное жужжание, в глубине бесформенного этого шума кружились песни, которые она слыхала и пела в своей жизни.

Тереза умерла днем, когда в гараже никого не было.

Вечером пришел отец, зажег у изголовья свечи. Они догорели и погасли. Отец ушел, принес гроб, привел с собой людей. Они положили Терезу в гроб и унесли из гаража.

Вечером мистер Дэвис долго говорил со своей девушкой, а миссис Робенс прилегла вздремнуть для того, чтобы ночью можно было подольше посидеть у мистера Дэвиса и этим возбудить ревность мужа. Братья Джекобсон, включив радио, танцевали как влюбленная пара. Они все разыскивали станцию, играющую «шимми». Во время этих поисков приемник издавал воющие визгливые звуки, дошедшие даже

до мистера Мэкоя, в его комнату. Мистер Мэкой подумал, что это поет Тереза и в бешенстве рванул окно:

— Это снова ты, «Джиро-Джиро»... Вот поймаю. Я тебе...

Во дворе на досках сидел отец Терезы. Он поднял глаза на бухгалтера, подумал, сплюнул, сжал челюсти и зашагал куда-то. Куда мог он пойти в этот час? Кое-где были еще открыты кабачки, кое-где расставлены пикеты.

Красные глаза светофоров смотрели с перекрестков. Люди сыпались из нор, из подземелий, из поездов, летавших над домами. В воздухе кривились светящиеся рекламы, хрипели громкоговорители, сплетаясь с голосом Нью-Йорка, с глухим его ревом и поющими электролами. Без языка, без голоса, без неба, все серенады его, вся ворочающаяся его утроба твердили о долларе.

Перевод И. Бабеля

В ДЕНЬ БУДНИЙ

На бархатно-зеленых полях к вечеру темнеют молодые хлеба; колосья наливаются и прячут узкий проселок с бегущими дрожками.

На дрожках — легких, рессорно-мягких — сидят двое.

В кузове, на кожаном сидении — Элек, Самуила-красильщика сынок, на козлах — Генех, в прошлом извозчик, сейчас кучер на большом Лебедивковском сахарном заводе.

Внизу на холмике заночевал под открытым небом крошечный застенчивый вокзалец — его два поезда, обычные, каждодневные, уже проделали свое: встретились, разошлись, клубами расписались в этом на двух небосводах.

Генех погоняет без всякого воодушевления, как бывает — произносит человек слова губами, а мысли его где-то далеко. Его щеки ухмыляются в жесткую темно-рыжую бороду, глаза устремлены и никуда не глядят — такие глаза видят все и не видят ничего.

— Элек, — бросает он неожиданно, — скажи правду...

Он поводит плечом:

— Ожидал ли ты когда-либо?..

Элек хочет привстать и нагнуться к плечу Генеха. Мягкая тряска весело откидывает его назад к кожаному сидению и приводит его самого в веселое настроение.

— Чего ожидал?.. А, Генех?

Генех не оглядывается, а кнутом широко обводит вокруг себя.

— Вот этого вот, всего... Стою на вокзале и смотрю — незнакомый оголец, славная рубашка, неплохие сапоги... убей меня на месте, если я тебя узнал... Сколько времени ты не был здесь?

— Восемь лет, Генех.

— От-ат!.. Порядочно водицы утекло.

— А что?

— Ничего... Помню: пришли первые большевики. На один день всего. Утром встаем — гвалт, крик: «Элека нету! Ушел с большевиками!» Твоя мама тогда еще жива была. Она с ума сходила!.. Ты был еще цуциком... А папа, наоборот... Папа — ничего... А где он теперь, папа твой?

В Одессе.

— А что он делает?

— Красильщик, попрежнему.

— Как у него дела?

— Так себе... Передних зубов вот нет у него.

— Что, ему выбили во время погрома? Ну, так ты маленький, чтобы вставить ему золотые?

— Для этого нужна монета.

— А?..

Генех поворачивает голову.

Он всматривается в Элека: черные сросшиеся брови; глаза острые, колючие, но улыбочивые; волосы низко подстриженные, как у новобранца, а носик уютно-вздернутый — белоболка — носик Самуила красильщика — точь-в-точь. Этот носик счастлив, что живет на белом свете.

Генех почесывает затылок — ммм-да!..

Щеголем тебя назвать нельзя... Что же ты, плохо зарабатываешь?

— Я учусь, Генех, я — студент.

— Студент?.. Вот тебе на! Выдвиженец!

— Во, во... угадал.

— Вот тебе на!.. Кто ты будешь? Доктор?

— Нет, Генех.

— А кто же?

— Химик.

— А зачем на завод едешь?

— Пока практикантом.

— Так, так, так... И долго у нас останешься?

— На все время производства, Генех.

— А что ты будешь делать?

— Буду работать в лаборатории. Ну, а вы, Генех, как живете?

Пауза. Взмах кнута.

— Как же мне жить? Вот, как видишь: был извозчиком, мучился, работал, как скот. Теперь кучер на заводе.

— На хлеб хватает?

— Чтобы еще на хлеб нехватало?

— А как поживает ваша Бейлька?

— О!.. Я так и знал, что спросишь о ней.

— А что?

— Ничего. Она говорила — видела тебя в прошлом году в Одессе.

— Что она делает? Все еще в исполкоме?

— О-о!.. Главный секретарь!

— А кто там еще в исполкоме?

— Все новые люди; пожалуй, их не знаешь.

— А как дела вообще? То-есть, в городке?..

— Ну, что же? Как-кому. Вот приедешь и сам увидишь. Вот уже виднеется...

Элек привстал; держится за плечи Генеха и минуту всматривается. Генех указывает кнутом.

— Видишь?.. Вон там, влево, по склону... Ее городские Лебедивка! Одно слово — столица!.. Хотя с маслом ешь! Лежит себе у речки, как бы босая — и уйти бы не прочь, да сапоги у ней отняли... Смеешься, а?..

Минутку длится молчание. Генех поводит плечами.

— Скажу тебе правду: все же у нас лучше, чем было раньше. Когда-то у нас в городке было три-четыре богача — Янкель Либерман, Мойше Тростенецкий, Хаим Фридман, — как бы нарочно, для того чтобы дразнить: «глядите на счастливых, как жирно живут, и тресните от зависти»... Смеешься, а?..

Впрочем, что вы знаете? Вы ведь все тогда под столом ходили. Где вам помнить, как наш брат подыхал по тате и по маме... Возьми, к примеру, хотя бы твою маму. О, и отмытарил же она свой век. Все лучшие годы была прислугой у Либерманов. А что, я не помню? Я могу рассказать тебе всю твою знатную родословную. Твой дед Аврам-Янкель делал изразцы для печей и был горьким капцаном; матери было лет четырнадцать, не более — красивенькая была, чистенькая, шустрая, как на пружинках. А Либерманы держали только красивых прислуг — дурнушек иметь им не подобало. Мама прослужила у них до свадьбы. Уже, кажется, довольно? Так проходит около года, ты только что появился на свет — и отца, с божьей помощью, забирают в солдаты. А к тому времени Нехам Либерман онять отелилась — в пятый или шестой раз — и вот начинают приходиться от нее маклерши к маме и звать ее в мамки. Ну, что же ей, бедняжке, делать, маме твоей? Если хлеба в доме нет? И оставила она тебя на соске, сдала какой-то там женщине. Отняла грудь от твоего рта и отдала свое молоко Сашке,

Либермановскому отпрыску... Вот тому, что исчез в Париже, чему-то там учился... Ша... вот ты его увидишь, Сашу этого, — он у нас еще в Лебедивке околачивается... Все говорят: «у нас не церемнятся с ними — с бывшими богачами». А по правде сказать — я еще не видел, чтобы какая-нибудь мадам пошла к нашему брату в кормилицы, а?..

Экипажик бежит мимо лога, мимо разбросанных крестьянских домишек, глубоко сидящих в зеленых хлебах.

Узкая дорога тверда и гладка.

Пронеслись домики.

Внизу осталось:

заходящее солнце, томление весеннего вечера, запахи, напоминающие смолу, дойку коров, очистки свежесваренного молодого картофеля.

Уютно вздернутый носик Элека на минуту перестал радоваться жизни, в острых глазах сверкнул огонек прочно засевшей там мысли.

Элеку не по себе, но он не знает, отчего. В памяти всплывают разрозненные дни детства, сплетаются в недели, в месяцы.

Странно. Пробыл до конца гражданской войны в Красной армии, работал на заводе, окончил рабфак, учился дальше, и никогда не испытывал того, что сейчас. Мучительный стыд за ребенка, у которого изо рта вырвали грудь... Какой-то мучительный стыд за мать, вынужденную бросить дома плачущее дитя

и унести свое материнство к увядшей буржуйке, чтобы кормить ее мальчика Сашку...

И сейчас его можно еще видеть, этого самого Сашку — только что Генех сказал: «он еще у нас околачивается в Лебедивке».

Элек неожиданно спрашивает:

— А сейчас что он делает?

— Кто?

— Вот этот Сашка...

— Сашка?.. Э, ни черта из него не получилось.

— Что же?

— Он втянулся, чорт его знает, во что.

— В карты?

— О-от... Как только раздобудет копейку...

— А зарабатывает он что-нибудь?

— Какое!.. Старший ему иногда присылает — Мотл Либерман, что ушел с белыми. Авремл — младший — в Ленинграде. Тоже изредка пришлет немного. Одним словом — иждивенец. Его как-то уже должны были взять в семилетку обучать ребят немецкому языку... Но что, когда он всегда в растрепанных чувствах. Э, никудышный! Если он не играет — он сам не свой. Запустил огромные патлы — уже с проседью на висках, разговаривает сам с собой, то по-немецки, то по-французски...

— Хотел бы с ним поговорить.

Генех поворачивает голову и смотрит с удивлением на Элека.

— Зачем он тебе нужен?!

Элек опускает глаза и недвижно сидит со сконфуженным носиком:

— И в самом деле — к чему он мне нужен?

Только вот непривычно скребет в душе этот жгучий стыд и напоминает о груди, когда-то вырванной из его рта и отданной вот этому Сашке...

Сумерки.

Легкий экипажик, качнувшись на мягких рессорах, избегает на гладкие доски деревянного моста.

У Генеха истощились слова, у Элека — тоже.

Слева, по зеленому берегу реки, тянутся корпуса завода с его складами, с гигантской новой трубой. Эта труба видна на всю окрестность. А справа, по склону горы, лежит Лебедивка, крепко упирается в реку и как бы боится воды...

Генех указывает кнутом на светящийся над городом, только-то зажженный фонарь:

— Видишь? электричество!... Лебедивка дожила. И в голосе его звучат ноты некогда пережитых долгих и тяжелых дней.

Он мягко, почти отечески спрашивает:

— Куда ты поедешь? В исполком?

— Как вы думаете, есть еще там кто-нибудь?

— Возможно. — «Не относится ли это к его Бейльке, которая там секретарь?»

С отдаленной площади вдруг доносится музыка, и Генех вспоминает:

— Да-а... Сегодня ведь их вечер... Комсомол...

Вот они в'езжают в Лебедивку — маленький городишко с тонкой печатью совершенного греха. Здесь некогда отняли грудь у одного ребенка и отдали ее другому. У в'езда дрожит лишь один живой нерв — маленькая мельница с желто-розовой пылью. Ее мотор стучит почему-то особенно громко, стучит, будто боясь, как бы при тишине не всплыли воспоминания о содеянном грехе...

Перевод Д. Кармен

ГРАЖДАНИН БРЕНЕР

Каждый выходной — пунктуально, как часы — переполненным почтовым поездом приезжает в Москву бракер Воля Бренер.

— Скажи, пожалуйста! Приехали? — удивляется он, точно прилетел на ковре-самолете. — Н-н-на! Здравствуй, Москва!

Благодушно настроенный, чувствуя себя как зажиточный хозяин, он достает с полки ручной чемоданчик и налегке выходит из вагона.

— Ну, ну, ну! — улыбается он пассажирам, уже стоящим в проходе, не торопитесь, не торопитесь! Есть время!

Вокруг длинного поезда давка. В ногах валяются чемоданы, мешки, свертки; голоса пассажиров, крестьянок с бидонами смешиваются с исступленным гомоном кур и уток, уже с полуночи кудахтавших и крякавших под лавками вагонов. Тяжелые торопливые сапоги шагают по чем попало.

— Эй, дядя — кричит кто-то, — еы мне наступили на любимую мозоль!

Все это Воле Бренеру давно знакомо и не вызывает в нем никакого недовольства. Это обычно, как падающий дождь, как снег. Почти все люди здесь кажутся ему своими.

— До свидания, — кричит он кондуктору и машет ему издали рукой, — до свидания, товарищ!

И шагает с вокзала в город пешком.

Воля Бренер — крепкий, среднего роста еврей, лет шестидесяти. Его опрятную с проседью бородку некогда красавца-блондина так и хочется разглаживать половину вправо — половину влево. Вокруг маленькой бородавки на левой щеке блуждает миловидность — остаток юных лет, миловидность, быстро связывающая его с совершенно чужими людьми. На голове у него — кепка, как у всех советских людей, но несколько набекрень, как у слегка загулявшего юноши. Его лицо всегда готово улыбаться, всегда готово показать, что у него спереди нехватает одного зуба. От его поношенного кожаного чемоданчика пахнет сдобными баранками, как в ту пору, когда он еще был служащим у лесопромышленника, а от него самого пахнет переполненным ночным вагоном, полудремой в тесном уголке скамьи. Но, внутренне, сам он бодр и весел.

— Лом-те-дери-том, лом-те-дери-том, — звенит в душе песенка.

На улицах медленно, лениво сереют окна, к фасадам домов еще прижимается ночная темень. В одиноких автомобилях гулко стучат моторы, будто будя самих себя. Тут-там при красных и зеленых огнях люди перекаладывают рельсы и перебрасывают камни мостовой. Воля Бренер смотрит на эту работу с видом знатока старожила и, проходя мимо, готов всем улыбаться направо и налево.

Так он раз'езжает уже года три. В первый день пятидневки он получает ордера на отборку материала в подмосковных лесах, а на выходной на рассвете он возвращается в Москву, чтобы провести этот день с детьми. У него их три красавицы, от второй умершей жены.

Густа,

Лета

и Поля.

— «Три, дай им бог здоровья!»

— «Сосны — не сглазить бы!»

Старшие две — машинистки, третья — учится.

Когда он ранним утром приходит к себе домой в переулок около Трубной, оне все еще спят. В темном коридоре с полуспущенной занавеской белеют эмалированные тазы; высокие голубые кувшины, мокрое пахучее мыло и еще некоторые признаки говорят о вчерашнем раздолье: видно, «компания» вчера мылась всласть, до позднего вечера, мыла и волосы, и прекрасные молодые тела.

Он с улыбкой смотрит на эти следы. Правая рука тянется к бороде, чтобы погладить ее вправо и влево, рот вот-вот улыбнется и покажет, что нет переднего зуба:

— Так, так... Молодцы ребята!

На деревянном некрашеном табурете возле эмалированного таза он замечает колечко свернутых волос. Несколько секунд он не может оторвать глаз, берет его в руки, всматривается, нюхает.

— Лотины волосы — узнает он по черному, чуть-чуть рыжеватому цвету. «Ну и патлы! сколько бы она их ни выдирала гребешком, все у нее остается больше, чем у тех двух... Ух, и девка!..

Он вешает пальто, тихо умывается и тихонечко открывает дверь в комнату. В нос ударяет теплый запах, приятный запах в меру нагретой оранжереи, где выращиваются только редкие растения.

— Спят, — улыбается он, лукаво мигнув и высунув кончик языка. — И во сне они сверкают! Комната — четырехугольная, вместительная московская комната на троих девушек, к которым по выходным еще приезжает отец. Три больших окна завешены полотнянными шторами и белыми тюлевыми занавесками — девушки сами их стирают и гладят. В дальнем углу под стенным ковриком диван, а на нем открытая постель со стеганым одеялом. Постель ждет отца всю ночь.

На двух кроватях и на койке спят три цветущие

девушки, года на полтора и на два отстающие друг от друга — три юные красавицы, скрывающие под одеялами стройные рослые тела.

Воля Бренер останавливается и смотрит на свое добро, как хозяйка — на хорошо взошедшее тесто, его зрачки полны восторга и радости:

— «Густа, а?.. Лежит как королева!..» — Он не может глаз оторвать.

— «Статуя... Смотри-ка, смотри, как разметалась по одеялу ее правая рука... Как будто для выставки. А ресницы длинные, длинные, шея — мрамор, и вся она так горделива. Погляди-ка на эти зазорные губки. Только короны на голове нехватает. Но к чему ей корона? Пустое! Она сама себе корона».

Лота же ни в чем не станет ей подражать, даже ночью, во время глубокого сна... Вот, не угодно ли?.. Лота лежит только на животе. Руки закинула вдоль подушки как бы пускаясь в плавание, а лицо повернула в сторону, словно хвастает: а здорово я плаваю, а? Она, вообще, шиворот-навыворот по отношению к старшей, и не только лицом — каждым своим жестом. Та — светлая, она — цыганка, в мать покойную. Старшая — Авишаг¹, а эта — настоящая Бат-Шева — юная, огненная, любит себя очень, самоуверенна до ужаса. Она в жизни не видела драго-

¹ Девушка, отогревшая коченеющие ноги царя Давида.

ценностей, но когда оденется, она как-будто вся в золотых обручах — руки, шея... Глаза не голубые и не серые, а между тем и густо голубые и серые, а главное — острые, как девяностоградусный спирт...

Однажды, когда он, отец, зашел к ней в учреждение, где она работает машинисткой, там стоял ужасный шум.

Кто-то из другого учреждения, видать, большой «я тебе дам», прибежал с бумагами и потребовал срочно их переписать. Он вошел с тарарамом: «сию минуту!»

Но Лота, переписывавшая в это время другие бумаги, только взглянула на него в полоборота, и наш «я тебе дам» на минуту вообще остался без слов, затем он, правда, опять стал торопить, но уже тихо.

Ну, а третья, девочка...

Воля Бренер глядит на нее, глядит, как она спит посреди комнаты на койке:

— Еще котенок... Семнадцать с половиной лет — еще крута, еще в росте и налита соками; она еще не созрела, лежит калачиком. Но гляди, как это существо улыбается с закрытыми глазами и ищет во сне, кого бы своими губами поцеловать. Ты видишь?

Но Лота вдруг быстро поворачивается на спину. Одеяло скользит, падает на пол, и обнажается тонкое девичье тело. Оно пылает, но полно дремотной истомы. Воля Бренер быстро поднимает одеяло и отворачивает голову. Он укрывает дочку и при этом

вспоминает из библии, как Сим и Яфет прикрыли голову отца Ноя.

Он раздевается, укрывается одеялом и наслаждается после шестидневных скитаний своим белоснежным ложем, приготовленным ему детьми.

— Наслаждение! — он сладко зевнул, — у-у-а!

— Радость жизни. Вот это называется радостью жизни, ойлем хазе!

Он почесывает бороду и думает о разных вещах.

— «Я? — думает он о себе самом. — Я уже обеспечен». Он сам удивлен, как это ему никогда не скучно, особенно в последние годы.

Раньше, для того чтобы убить время, надо было заглядывать в сойфер — в священную книгу. Теперь же со времени революции и советской власти — вся жизнь кругом так интересна, что вполне достаточно читать газету, а часто даже и без нее обойдешься. Присматриваешься к тому, что творится в стране и во всем мире, и это одно заставляет тебя думать.

— Потому что из-за революции и из-за советской власти, — Воля Бренер хочет себя самого пощекотать — мы со всем миром стали за панибрата. Пхе! Когда во всем мире у нас есть близкие друзья: в Китае, в Никарагуа.

— Ты, умник, знал ли ты когда-нибудь до революции, что у тебя есть где-то милый родственник, которого зовут Никарагуа? Ни-ка-ра-гу-а... Какое слово?.. Ты мог его раньше выговорить?..

Он вспоминает беседу в поезде с двумя старыми знакомыми.

— Раби Бренер, — сказали они, — указав на все окружающее, — скажите правду: вы действительно верите «во все это» или вы только так себе?..

— Пардон, — ответил он им. — Во-первых, я не раби Бренер, а гражданин Бренер.

— А во-вторых, вы — безмозглые! Почему бы мне не верить? Кем я был до советской власти? Служащий у капиталиста в лесу. А сейчас я, слава богу, участник, компаньон всей советской власти, акционер, значит. И разве только советской власти! Почему бы и не коминтерна? У-вва! Вы шутите, что это за предприятие?.. И что за предприятие это еще будет!.. Подождите, оно еще только начало расти. Вы копеечники, вот вы кто! Вам главное — щелкать на счетах. Мелкие кулаки! Вы даже представления не имете, что такое настоящее предприятие, а я знаю одно: у меня есть акции, у моих детей — тоже. А что же? Поверьте мне: ничто не пропадет... Будет прибыль, будет...

—Э! — прервали его, Бренера. — Мы вас серьезно спрашиваем, а вы шутками отделываетесь.

— Ослы, ответил он им, — вам это шутки, а для меня это серьезно. Чем я виноват, что у вас узкие лбы? Клянусь, вы даже не понимаете, в чем суть. С вами надо с азов начинать, но у меня для этого времени нет — я только бракер по лесу, вот кто я!

Воле Бренеру часто приходится заводить беседы в вагоне. Сегодня ночью в переполненном вагоне почтового поезда ему пришлось вести разговор. Было темно, как перед праздником, сидели друг на друге, соснуть хотелось до смерти, но напротив, на скамейке, вдруг заговорил незнакомый иностранец; он видимо возвращался с осмотра подмосковных заводов — важный спец, как будто — хотя лицом он казался немножечко своим, чуть-чуть знакомым. Выяснилось — он немецкий еврей, действительно большой спец, инженер и к тому же набожный... древнееврейское слово не плохо понимал.

— В Германии, — сказал он, — есть много таких, как я — окончили университет и по пятницам сами святят свечи.

— А здесь в «Зовет-Унион», — сказал он с тоской по своему укладу, — здесь в «Зовет-Унион» я бы не остался.

— Варум? — обращается к нему Бренер.

— Варум? — говорит он, — ваш шахтинский процесс... Страна с такими высокими идеалами, а все еще расстреливает людей...

На это он, Воля Бренер, ему тут же ответил:

— Вы еще сами святите свечи и еще понимаете язык предков, — при этом он вспоминал курляндский говор и язык Шомера — так выслушайте меня: был у нас некогда великий ученый, а именно: Симеон бен Сатах его звали. И этот Симеон бен Са-

тах: толо — повесил, п — сорок, ношим — женщин, беашкедойн — в Ашкелойне. На это в талмуде есть вопрос: «Ведь мы учили — только мужчина подлежит повешению, но не женщина?» Отвечает талмуд: «в смутное время ты можешь повесить даже женщину». А у нас, понимаете, сейчас время смутное. Вы понимаете меня — весь капиталистический мир хочет нас задушить, а во-вторых, скажу я вам, вот я тоже спец — по лесному делу — и меня никто не расстреливает, и расстреливать не будет. Варум? Оттого, что я не делаю того, что сделали те... Вот так, как вы меня видите...

Сейчас, засыпая и вспоминая, как немецкий спец после такого ответа остался с умным носом и с глупым лицом, ему становится жалко, почему он тому немцу не выпалил еще одну цитату, из библии. Там же черным по белому сказано, что без этого, т. е. без смертной казни, не мог ничего построить даже Моисей.

— Ай-ай-ай, — делает Бренер гримасу и с чувством большого сожаления почесывает бороду, — жалко, жалко!.. Как это я не двинул этому немцу еще вот эту вот цитату!.. Ай, ай, ай!.. Жалко, жалко!..

Перевод Д. Кармен

СОДЕРЖАНИЕ.

	<i>Стр.</i>
Джиро-Джиро	3
В день будний	28
Гражданин Бренер	37

ВЫШЛИ В СВЕТ:

Андрэ Виоллис — Индо-Китай
Генрих Гейне — Сатиры
Поэты Казахстана, сост. Н. Сидоренко
И. Ильф и Е. Петров — Поездки и встречи
Л. Фейхтвангер — Два рассказа
А. Миронов — Чукотские новеллы
А. Михайлов — Чапаев в Пугачевске
Мих. Кольцов — Командиры
Н. Ростов — Жизнь и смерть Костюшко-Волюжанича
А. Аросев — В октябре 1917 года
А. Явич — Ижемцев
Ник. Попов — Петровы
Ш. Сослани — Речь о Колхиде

Перечисленные книжки Библиотеки «Огонек» можно получить в любом книжном магазине или киоске Союзпечати.

На складе издательства названных книг не имеется и заказы на высылку не исполняются.

Цена 20 коп.

